**Автор:** Юсупова Аружан Нурлановна

**Место работы/учебы:** «Назарбаев Интеллектуальная школа» физико-математического направления города Семей.

**Руководитель:** Казангапова Асем Абылмансуровна

**Рассказ «Софи из „Белой розы”»**

**1943.**

День обычного человека, вероятно, начинается с умывания.

Я, быть честной, тоже обычный человек. Но нормальные граждане, по общепринятому убеждению, первым делом после пробуждения не вслушиваются тревожно в звеняще-глухую тишину дома. Не опасаются рева черного партийного фольксфагена и зычного голоса офицера за хлипкой дверью.

Да, я самый обычный человек, и, все же, после короткой вечности в узах страха и быстрого взгляда на мирно спящего неподалеку брата я нахожу в себе силы рывком подняться с постели.

**\*\*\***

Меня зовут Софи. Софи Шолль. Немка, целых годов двадцать один, учусь в Мюнхенском институте.

Прямо сейчас я судорожно пытаюсь собрать листовки, разбросанные шальным ветром по переулку. Кажется, и он на нашей стороне – подул бы секундами раньше, и листовки с смелыми лозунгами "Свобода! " и "Долой Гитлера!" раскидало бы по всей центральной улице Мюнхена, где на каждом шагу рыскают правительственные надсмотрщики. Мы действительно словно в тюрьме, но только я это замечаю.

Дрожу и сама не понимаю от липкого это страха осознания, что чуть не поймали, который не получается полностью загнать вовнутрь, от которого зрачки сужаются, или от того самого прохладного мартовского ветра.

Чем короче становилось время до лета, тем ближе "враги Германии" подходили к границам. Стоило бы радоваться в глубине души, но и ошибок мы стали допускать больше. Мы, то есть «Белая роза»: мой брат, я и его сокурсники. Хотя теперь уж они наши общие друзья и товарищи по предательству отечества и фюрера, что значит распространение агитационных листовок и писем.

Таких листовок, как те, что я наконец собрала, еще раз убедившись, что ни одну не потеряла, еле как отряхнула и запихнула поглубже в сумку. Подарок школьной подруги.

Так вот. Чем ближе союзные войска подходят к Германии, тем злее и внимательнее кажутся взгляды офицеров в черной форме. Они сами целиком, вместе с лицами, черно-серые, блеклые, легко сливаются с тенями старых зданий. Люди будто неосознанно огибают их, ускоряют шаг, едва замечая. Те, кто ждут их дома, так же боятся? Тревожатся? Осознают, что не без причины?

Я задаюсь такими вопросами уже восьмой год. Со школы.

**\*\*\***

**1935.**

Отец, сидящий во главе стола, с тяжелым вздохом будто весь сжался, склонился над столом, прикрыл рукой глаза, затем сжал переносицу. Будто стыдился. Боялся.

Все тут же посмотрели на него. Ганс с волнением переместил руку на плечо Вернера, мама бросила короткий взгляд на с хлопком брошенную отцом на стол газету. Стоило ей осознать прочитанное, с бледных губ рвано сорвался воздух, будто мама на секунду забыла, как дышать. Она замерла, но тут же подскочила и обняла отца. Не тем нежным, понимающим касанием, а будто сама искала в нем опоры.

Я догадывалась, что чернилами въелось в бумагу, заклеймило ее и честь германского народа. Еще одно доказательство преступлений партии. Ганс с молчаливого дозволения родителей протянул руку и подхватил газету, без стеснения, зычно и с присущим лишь ему одному уверенным выражением лица зачитал:

– Этим утром в Нюнберге на специальном съезде НДСАП были торжественно приняты «Закон о гражданине Рейха» и «Закон об охране немецкой крови и немецкой чести».

Это прозвучало словно приговор. Инга зажмурилась, сжалась, сам Ганс отвел взгляд виновато (хотя в чем он был виноват?), Вернер уставился в тарелку. Так он походил на отца: не сломленный, но усталый, полный разочарования. Даже в свои юные шестнадцать. Родители обменялись взглядами, а затем вдруг перевели на меня: я лишь смотрела на них в ответ, все это время совсем не двигаясь. Зато вот мое выражение лица все говорило за себя.

Мы не были евреями. Зато ими были наши соседи, друзья, не кровные родственники. Коллеги, одноклассники, прохожие. И все они, конечно, в первую очередь были людьми.

**\*\*\***

**1936.**

– Кто не знает Гейне, тот не знает немецкой литературы, – не помню, откуда во мне взялось столько смелости сказать это партийному представителю, оставшемуся для меня безымянным, в лицо. Кажется, это от того, что в тот день я все окончательно осознала: после того как мне запретили читать самого Гейне в школе из-за его национальности, и после того как Эльза позвала меня попрощаться.

Хотя нет, осознала я все еще давно. В тот самый день, когда Ганс зачитал на ужине закон, который в считанные часы обрушил жизни дорогих мне людей. Когда фрау Шмидт, подруга мамы, исчезла из собственного дома и никто не стал ее искать, и когда пекарня семьи Хейфец после обычной ноябрьской ночи сгорела дотла. Где они сейчас, мы тоже до сих пор не знаем.

Как и еще десятки других таких наших знакомых, с которыми я каждый день здоровалась по пути в школу, даже не зная имен, и которые встречались нам в магазинах, кафе, киосках. Все они просто начали друг за другом исчезать, растворяться в череде дней. И самое ужасное, что никто этого, кажется, и не замечал. Стоило мне спросить у учителя, почему одноклассник уже неделю не появляется на уроках, весь класс либо отвел глаза, либо даже не поднял их с тетради, и лишь единицы тоже пусть и несмело, уставились на взрослого.

Но он лишь хмыкнул и внимательно, при том равнодушно посмотрел на меня:

– Не знаю. Какая разница?

Ведь, конечно, тот мальчик-еврей больше не был его учеником. Чьим-то ребенком. Человеком. Как и фрау Шмидт, как и семья Хейфец, и даже их новорожденная дочь.

Эльза тоже. Моя подруга, которая с первых дней учебы подставляла свое хрупкое плечо и столь отважно эти долгие, душащие напряжением годы смотрела в будущее, не сдавалась после тысячи отказов и боролась за свою семью, тем утром встретила меня возле дома, взглядом попросила понимающего Вернера отойти и... огляделась. Убедилась, что никто не видит, и лишь затем робко протянула руку и положила мне на плечо.

Взгляд у нее при этом был душераздирающий. Он, тихий, полный невысказанного горя и сожаления, наполнял точно так же тихую улицу для меня тысячей звуков, чувств, воспоминаний. У меня вдруг подкосились ноги, но я не посмела даже дернуться: если этой хрупкой, болезненной Эльзе после разбитых в осколки надежд хватает сил сломлено, но все же улыбнуться, и продолжать поддерживать меня, то и я не могу так сдаться. Я тянусь к ней, и разумом, и телом, но она выставляет руку вперед и качает головой. Вместе с этим легко покачиваются и белые косы на ветру.

– Увидят, – и вновь смотрит на меня глазами, наполненными просьбой. – После в школы. В парке.

И убегает быстро через задний двор.

А я уже после уроков и того злополучного спора с человеком в форме еще быстрее сейчас несусь к заброшенному, всеми забытому парку. Весь день меня преследовало волнение, дышало в шею, и наконец заставило даже под предупреждающе-испуганным взглядом Вернера высказать все, что я думаю партийного представителю. На его реакцию мне было плевать, в отличии от крохотной фигуры Эльзы, что стояла ко мне спиной и похоже смотрела вдаль, на заходящее солнце.

Я ускорилась, и с каждым метром мое дыхание все чаще замирало. Я боялась, до ужаса боялась, что она вот-вот повернётся ко мне, и на светлом лице я увижу горькие слезы. Но на нем оказалось лишь смирение. И, возможно, оно было в тысячу раз хуже. Не узнавать в чужих глазах прежней жизнерадостности и силы воли оказалось все равно что ощущать, как близкого тебе человека сломали, сломили. Что Эльза сдалась, что она уже не видит надежды, и...

– Я уезжаю, – лишь тихо сказала она, а я замерла в метре, не в силах приблизиться. Хотелось коснуться ее, убедиться, что она еще здесь, рядом, что это та самая Эльза, моя подруга, но что-то держало меня на месте.

– Куда? – я едва прошептала одними губами, но здесь так тихо, вдали от всех, и она меня слышала, и даже ручей неподалеку будто затих, внимал ее хриплому голосу.

Лучи заходящего солнца пробежались по бледному лицу.

– Не знаю. Нас...за...забирают, – на последнем слове Эльза вдруг вздрогнула всем телом, согнулась, и я поняла, что еще немного и она упала бы. Я подхватила ее и наконец крепко обняла, осознав: какой бы сильной она не была, это всего лишь маленький, одинокий ребенок, вынужденный столкнуться с тяжестями мира просто из-за своего рождения. И никому из тех, кто смотрел на нас с обложек газет и чьи голоса звучали из радио не было ее жаль.

Мне было так противно от самой себя, что когда-то я поддерживала их, что я оказалась настолько слабой, что не могла ей ничем помочь, что в тот момент еще тысячи таких же людей были вынуждены прощаться с кем-то и не знать куда их забирают.

Эльза вдруг оттолкнула меня, слабо, будто испугалась чего-то. Она подняла с земли сумку, которую я не заметила раньше, какие мы носили в школу, явно новую, и протянула мне. А я не понимала.

– Ну, бери, – на ее лице вдруг появилась та добрая и искренняя улыбка, которую я так хотела защитить.

– Не плачь, – а я и не осознавала, что все это время и по моему лицу текли слезы. Они казались мне незаслуженными, но Эльза так нежно вытерла их свободной рукой.

– Мне она больше не нужна. Пусть…лучше у тебя будет. Пригодится. Считай, что ранний подарок на день рождение.

Я могла лишь стоять и смотреть на нее. В моей душе творилось столько всего, что не получалось описать и понять саму себя. Хотелось одновременно и расплакаться от ужаса, и немедленно вернуться в школу и посмотреть в лица тем, кто все это допустил, и спрятаться с Эльзой от всего мира.

И все же я взяла прощальный подарок. Хотела потом незаметно вернуть ей, но не получилось.

А пока:

– Давай погуляем? Сколько сможем.

**\*\*\***

**1943.**

– Тот, в ком сердце есть, кто в сердце

Скрыл любовь, наполовину

Побежден, и оттого я,

Скованный, лежу и стыну.

Голос герра Хубера, единственного профессора в «Белой розе», негромкий, но полный решимости, твердости, которая наполняла умы слушающих пониманием к сути стихов. Он любит Гейне, но так давно не читал его студентам из-за запрета.

Он мог так относительно открыто и уверенно вновь оглашать знакомые строки лишь сейчас, на очередном нашем собрании. Все слушали его, пусть и занимались своим делом: Ганс с Вилли составляли тексты листовок, тихо перешептываясь, Кристоф шелестел страницами телефонных книг в поисках адресов для рассылки агитационных писем, я с Александром отмечала на карте Мюнхена места для росписи стен призывами к протесту. Их становилось все меньше: за старыми местами установили пристальный надзор, и в прошлый раз из-за этого я чуть не попалась.

Мы еще ни разу не собирались в полном составе, да и большинством редко, уж слишком опасно. Так и сейчас Сузанна с ее братом отсутствовали - забирали марки от одного из жертвователей. В этой отдаленной от всех корпусов забытой комнатушке университета, которой никто другой давно не пользовался, год назад Ганс с друзьями подготовил текст первых листовок. Когда брат впервые познакомил меня с сокурсниками, я была рада встретить людей с похожими интересами в музыке, спорте, литературе. Уже позже среди наших общих интересов оказались антивоенные произведения Травена и твердая убежденность в бесчеловечности властей.

– А едва умру, язык мой

Тотчас вырежут, от страха,

Что поэт и мертвый может

Проклинать, восстав из праха.

Мотивы, которые привели нас в эту погруженную в темную пыльную комнату, заставившие объединиться под столь благородным именем «Белая роза», не слишком отличались. Любому из нас казалось очевидным, что насилие, ненависть – это плохо, и точно также нас всех пугало понимание, что не все наши сограждане осознают столь простую мысль. И, конечно, мы боимся. В конце концов, большинству из нас едва перевалило за двадцать, мы не герои. Мы бы очень хотели сейчас как в то вроде бы недалекое время вновь заняться альпинизмом и отправиться в поход, но от той поры нас разделяла целая война. И та жестокость, что кто-то повидал на восточном фронте, а кто-то буквально на соседней улице здесь, в Мюнхене. Никто из нас не может назвать совершаемое нами героизмом, даже тогда, когда горло каждого петлей сжимает ужас от осознания, что в любой момент могут схватить. Это, скорее, совесть, глубокое сожаление, которое мы пытаемся отыскать и в сердцах остального народа.

Мы желаем просто жить, не зная, какие ужасы творит Германия, но это ведь невозможно.

– Молча, я сгнию в могиле

И на суд людской не выдам

Тех, кто подвергал живого

Унизительным обидам.

Я резко встаю из-за стола, стоило Александру поставить последнюю точку на карте. Совсем недалеко от университета.

Ганс поднимает взгляд от стола, над которым согнулся с другом, и, не отвлекая его, подходит ко мне со своей спокойной сдержанной улыбкой. Он много раз пытался меня отговаривать, просил оставаться дома, в безопасности и непричастности, и, конечно, видит, насколько мне страшно. Но я не могла просто сложить руки, и это он тоже в конце концов осознал. А потому сейчас крепко обнимает меня, положив голову на плечо. Он всегда так делает, когда я вновь ухожу «на дело», будто ритуал на удачу, на прощание. И если в первые несколько раз я не могла понять зачем, то сейчас уже крепче сжимаю его в ответ, зарываясь в пиджак. Отцовский, кажется. Конечно, Ганс переживает, осознает все риски. Когда я впервые узнала, чем студенты занимаются, восхитилась – как им хватило смелости? Захотела присоединиться. Но Ганс этого, конечно, не хотел.

– Береги себя.

– Угу.

И стоило последним строчкам Гейне прозвучать из уст профессора, как я тихо покидаю комнату.